Содержание

Возвращение Мюнхгаузена 5
Глава I. У всякого барона своя фантазия 7
Глава II. Дым делает шум 19
Глава III. Ровесник Канта 39
Глава IV. In partes infidelium 50
Глава V. Черт на дрожках 53
Глава VI. Теория невероятностей 109
Глава VII. Боденвердерский затворник 123
Глава VIII. Истина, уклонившаяся от человека . . 143
Странствующее «странно» 153
Глава I 158
Глава II 195
Чужая тема 229
Чужая тема 231
Разговор двух разговоров 274
Швы 287
В зрачке 321
Собиратель щелей 362
Боковая ветка 388

ВОЗВРАЩЕНИЕ МЮНХГАУЗЕНА

Глава I

У всякого барона своя фантазия

Прохожий пересек Александерплац и протянул руку к граненым створам подъезда. Но в это время из звездой сбежавшихся улиц кричащие рты мальчишек-газетчиков:

— Восстание в Кронштадте!

— Конец большевикам!

Прохожий, сутуля плечи от весенней зяби, сунул руку в карман: пальцы от шва до шва — черт, ни пфеннига. И прохожий рванул дверь.

Теперь он подымался по стлани длинной дорожки; вдогонку, прыгая через ступеньки, грязный след.

На повороте лестницы:

— Как доложить?

— Скажите барону: поэт Ундинг.

Слуга, скользнув взглядом со стоптанных ботинок посетителя к мятой макушке его рыжего фетра, переспросил:

— Как?

— Эрнст Ундинг.

— Минуту.

Шаги ушли — потом вернулись, и слуга с искренним удивлением в голосе:

— Барон ждет вас в кабинете. Пожалуйте.

— А, Ундинг.

— Мюнхгаузен.

Ладони встретились.

— Ну вот. Придвигайтесь к камину.

С какого конца ни брать, гость и хозяин мало походили друг на друга: рядом — подошвами в каминную решетку — пара лакированных безукоризненных лодочками туфель и знакомые уже нам грязные сапоги; рядом — в готические спинки кресел — длинное с тяжелыми веками, с породистым тонким хрящем носа, тщательно пробритое лицо и лицо широкоскулое, под неряшливыми клочьями волос, с красной кнопкой носа и парой наежившихся ресницами зрачков.

Двое сидели, с минуту наблюдая пляску синих и алых искр в камине.

— На столике сигары, — сказал наконец хозяин. Гость вытянул руку: вслед за кистью поползла и мятая в цветные полоски манжета; стукнула крышка сигарного ящика — потом шорох гильотинки о сухой лист, потом серый пахучий дымок.

Хозяин чуть скосил глаза к пульсирующему огоньку.

— Мы, немцы, научились обращаться даже с дымом. Глотаем его, как пену из кружки, не дав докружить и постлаться внутри чубука. У людей с короткими сигарами в зубах и фантазия кургуза. Вы разрешите...

Барон, встав, подошел к старинному шкафу у стены, остро тенькнул ключик, резные тяжелые створы распахнулись — и гость, повернувшись глазами и огоньком вслед, увидел: из-за длинной и худой спи-

ны барона на выгибах деревянных крючьев шкафа старый, каких уже не носят лет сто и более, в потертом шитье камзол; длинная шпага в обитых ножнах; изогнутая в бисерном чехле трубка; наконец, тощая, растерявшая пудру косица, срезом вниз — бантом на крюке.

Барон снял трубку и, оглядев ее, вернулся на старое место. Через минуту кадык его выпрыгнул из-под воротничка, а щеки вытянулись внутрь навстречу дыму, переползавшему из чубука в ноздри.

— Еще меньше мы смыслим в туманах, — продолжал курильщик меж затяжками, — начиная хотя бы с туманов метафизических. Кстати, хорошо, Ундинг, что вы заглянули сегодня: завтра я намереваюсь нанести визит туманам Лондона. Заодно и живущим в них. Да, белесые флеры, подымающиеся с Темзы, умеют расконтуривать контуры, завуалировать пейзажи и миросозерцания, заштриховать факты и... одним словом, еду в Лондон.

Ундинг встопорщил плечи:

— Вы несправедливы к Берлину, барон. Мы тоже кой-чему научились, например: эрзацам и метафизике фикционализма.

Но Мюнхгаузен перебил:

— Не будем возобновлять старого спора. Кстати, более старого, чем вам мнится: помню, лет сто тому назад мы проспорили всю ночь с Тиком на эту тему, правда, в иных терминах, но меняет ли это суть? Он сидел, как вот вы, справа от меня и, стуча трубкой, грозился ударить снами по яви и развеять ее. Но я напомнил ему, что сны видят и лавочники, а ве-

ревка под лунным светом хотя и похожа на змею, но не умеет жалить. С Фихте, например, мы пререкались куда меньше: «Доктор, — сказал я философу, — с тех пор, как „не-я“ выпрыгнуло из „я“, ему следует почаще оглядываться на свое „откуда“». В ответ герр Иоганн вежливо улыбнулся.

— Разрешите мне улыбнуться не столь вежливо, барон. Это противится критике не больше, чем одуванчик ветру. Мое «я» не ждет, когда на него оглянется «не-я», а само отворачивается от всяческих не. Так уж оно воспитано. Моей памяти не дано столетий, — поклонился он в сторону собеседника, — но нашу первую встречу, пять недель тому, я как сейчас помню и вижу. Доска столика под мрамор, случайное соседство двух кружек и двух пар глаз. Я — глоток за глотком, вы же сидели не касаясь губами стекла, и только изредка — по вашему кивку — кельнер на место невыпитой рюмки приносил другую, остававшуюся тоже не выпитой. Когда хмелем чуть замглило голову, я спросил, что вам, собственно, надо от стекла и пива, если вы не пьете. «Меня интересуют лопающиеся пузырьки, — отвечали вы, — и когда они все лопнут, приходится заказывать новую порцию пены». Что ж, всякий развлекается на свой лад, мне вот в этой жиже нравится ее поддельность, суррогатность. Пожав плечами, вы оглядели меня — напоминаю вам это, Мюнхгаузен, — как если бы и я был пузырьком, прилипшим к краю вашей кружки...

— Вы злопамятны.

— Я памятлив на всякое: до сих пор еще в моем мозгу кружит пестрая карусель, завертевшаяся там, у двух

сдвинутых кружек. Мы пересекали с вами моря и континенты с быстротой, опережающей кружение земли. И когда я, как мяч меж теннисных ракеток, перешвыриваемый из стран в страны, из прошлого в грядущее и отбиваемый назад в прошлое, выпав случайно из игры, спросил: «Кто вы такой и как вам могло хватить жизни на столько странствий?» — вы — с учтивым поклоном — назвали себя. От поддельного пива и опьянение поддельно и запутывающе, реальности лопаются, как пузыри, а фантазмы втискиваются на их место — вы иронически качаете головой? Но знаете, Мюнхгаузен, — между нами — как поэт я готов верить, что вы — вы, но как здравомыслящий человек...

В разговор всверлился телефонный звонок. Мюнхгаузен протянул длиннопалую руку, с овалом лунного камня на безымянном, к аппарату:

— Алло! Кто говорит? А, это вы господин посол? Да-да. Буду через час.

И трубка легла на железные вилки.

— Видите ли, любезный Ундинг, признание поэтом моего бытия мне чрезвычайно льстит. Но если бы вы даже перестали верить в меня, Иеронима фон Мюнхгаузена, то дипломаты не перестанут. Вы подымаете брови: почему? Потому что я им необходим. Вот и все. Бытие де-юре, с их точки зрения, ничем не хуже бытия де-факто. Как видите, в дипломатических пактах гораздо больше поэзии, чем во всех ваших виршах.

— Вы шутите.

— Ничуть: на жизнь, как и на всякий товар, спрос и предложение. Неужели вас не научили этому газе-

ты и войны? И состояние политической биржи таково, что я могу надеяться не только на жизнь, но и на цветущее здоровье. Не торопитесь, друг мой, зачислять меня в призраки и ставить на библиотечную полку. Да-да.

— Что ж, — усмехнулся поэт и оглядел длинную, с локтями на поручнях кресла, фигуру собеседника, — если акции мюнхгаузиады идут вверх, я, пожалуй, готов играть на повышение: до степени бытия включительно. Но меня интересует конкретное как. Конечно, я признаю некую диффузию меж былью и небылью, явью в «я» и явью в «не-я», но все-таки как могло случиться, что вот мы сидим и беседуем без помощи слуховой и зрительной галлюцинации. Мне это важно знать. Если в слове «друг», подаренном вами мне, есть хоть какой-нибудь смысл, то...

Мюнхгаузен, казалось, колебался.

— Исповедь? Это скорее в стиле блаженного Августина, чем барона Мюнхгаузена. Но если вы требуете... только разрешите хоть изредка, иначе я не могу, из тины истины — в вольный фантазм. Итак, начинаю: представьте себе этакий гигантский циферблат веков; острие его черной стрелы — с деления на деление — над чередой дат; сидя на конце стрелы, можно разглядеть проплывающие снизу: 1789–1830–1848–1871 — и еще, и еще, — у меня и сейчас еще рябит в глазах от бега лет. Теперь вообразите, любезный друг, что ваш покорный слуга, охватив коленями вот эту самую, повисшую над сменой годов (и всего, что в них) стрелу, кружит по циферблату времени. Да, кстати, крючья шкафа, который я забыл запереть,

помогут вам увидеть тогдашнего меня яснее и детальнее: коса, камзол, шпага, свесившись над циферблатом, качается от толчков. А толчки стрелой о цифры все сильнее и сильнее: на 1789-м крепче стискиваю колени, на 1871-м приходится и руками, и ногами за края стрелы, но с 1914-го тряска цифр делается невыносимой; ударившись о 1917-й и 1918-й, теряю равновесие и, понимаете ли, сверкнув пятками, вниз.

Навстречу — сначала неясные, потом вычетчивающиеся сквозь воздух пятна морей и континентов. Протягиваю руку, ища опоры, — воздух, и ничего кроме воздуха. Вдруг — удар о ладони, сжимаю пальцы — в руках у меня шпиль, представьте себе, обыкновенный, как игла над наперстком, надкупольный шпиль. Над головой — в двух-трех футах — флюгер. Подтягиваюсь на мускулах. Легким ветерком флюгер поворачивает из стороны в сторону — и я могу спокойно оглядеть распластавшуюся под моими подошвами в двух-трех десятках метров ниже землю: радиально расчерченные дорожки, мраморные марши, стриженные шеренги деревьев, прозрачные гиперболы фонтанных струй — все это как будто уж знакомо, не в первый раз. Скольжу по шпилю вниз и, усевшись на дымовой трубе, внимательно оглядываю местность: Версаль, ну конечно же. Версаль, и я на краю Трианона. Но как сойти? Упругие пары дыма, скользящие по моей спине, подсказывают мне простой и легкий способ. Напоминаю: если я теперь, так сказать, оброс и приобрел некоторую весомость, то в тот первый дебютный день я был еще немногим тяжелее дыма — и я ныряю в дымовой поток, как во-

долаз в воду, и, плавно опускаясь, я вскоре у дна, то есть, отбрасывая метафоры, внутри камина, такого же, как вот этот (лакированный туфель рассказчика ткнул носком в чугунную решетку, огни за которой уже успели оттлеть). Я огляделся — никого. Вышагнул наружу. Камин находился, если судить по заставленным книгами и папками длинным сплошным полкам, в библиотеке дворца. Я прислушался: за стеной шум сдвигаемых кресел, потом тишина, размеченная лишь дробным стуком маятника, потом заглушенный стеной чей-то ровный шаркающий по словам, как туфли по половицам, голос. Мне, человеку, свалившемуся со стрелы на циферблат, конечно, еще не было известно, что это одно из заседаний Версальской конференции. На библиотечном столе картотека, последние номера газет и папки с протоколами. Я тотчас же погрузился в чтение, быстро ориентируясь в политическом моменте, когда вдруг за стеной — шум раздвигаемых стульев, смутные голоса и чей-то шаг к порогу библиотеки. Тут я... нет, видно, еще раз придется навестить старый шкаф.

И Эрнст Ундинг, наклонившийся всем корпусом навстречу рассказу, следил нетерпеливыми глазами, как барон, прервав рассказ, не торопясь, приблизился к торчавшим из глубины шкафа крючьям и опустил руку в топорщащийся карман старинного камзола.

— Ну вот, — повернулся Мюнхгаузен к гостю. В протянутой его руке алело сафьяном небольшое в золотом обрезе с кожаными наугольниками ин-октаво. Вот вещь, с которой я редко расстаюсь. Полюбуйтесь: первое лондонское издание еще 1783-го года.

Он отогнул ветхий истертый переплет. Зрачки Ундинга, вспрыгнув на титулблат, скользнули по буквам: «Рассказы барона Иеронима фон Мюнхгаузена о его чудесных приключениях и войнах в России». Переплет захлопнулся, и книга поместилась рядом с рассказчиком на разлапистой ручке кресла.

— Боясь прослыть за шпиона, неизвестно как подобравшегося к дипломатическим тайнам, — продолжал Мюнхгаузен, снова отыскав подошвами край каминной решетки, — я поспешил спрятаться: открыв свою книгу — вот так, — я насутулился, подобрал ноги к подбородку, голову в плечи, сжался, сколько мог, и впрыгнул меж страниц, тотчас же захлопнув за собой переплет, как вы, скажем, захлопываете за собой дверь телефонной будки. В этот миг шаги переступили порог и приблизились к столу, на котором, сплющившись меж шестьдесят восьмой и шестьдесят девятой страницами, находился я.

— Должен вас перебить, — привскочил с кресла Ундинг. — Как вы могли укоротиться до размеров вот этой книжечки? Это во-первых, а...

— А во-вторых, — ударил ладонью по сафьяну барон, — я не терплю, когда меня перебивают... и в-третьих, плохой же вы, клянусь трубкой, поэт, если не знаете, что книги, если только они книги, иногда соизмеримы, но никогда не соразмерны действительности!

— Допустим, — пробормотал Ундинг. И рассказ продолжался.

— Случаю было угодно, что человек, чуть не заставший меня врасплох (кстати, это был один из онеров трепаной дипломатической колоды), привел и себя, и меня к новому расплоху: пальцы дипломатического

туза, отыскивая какую-то там справку, скользя от переплетов к переплетам, нечаянно зацепили за сафьяновую дверь моего убежища, страницы разомкнулись, и я, признаюсь в некотором смущении, то растрехмериваясь, то снова плющась, не знал, как быть. Туз выронил сигару из рта и, откинув руки, опустился в кресло, не сводя с меня круглых глаз. Делать было нечего: я вышагнул из книги и, сунув ее себе под мышку, вот так, сел в кресло напротив и придвинулся к дипломату, колени к коленям. «Историки запишут, — сказал я, ободряюще кивнув, — что открыли меня вы». Отыскав слова, он наконец спросил: «С кем имею?!» Я опустил руку в карман и, молча, протянул ему вот это.

Прямо против глаз откинувшегося к спинке Ундинга проквадратилась визитная карточка — готическим шрифтом по плотному картону:

Барон
ИЕРОНИМ фон МЮНХГАУЗЕН
Поставка фантазмов и сенсаций.
Мировым масштабом не стесняюсь.
Фирма существует с 1720.

Пять строк, постояв в воздухе, перекувырнулись в длинных пальцах барона и исчезли. Маятник стенных часов не успел качнуться и десяти раз, как рассказ возобновился.

— Во время паузы, длившейся не дольше этой, я успел заметить, что выражение лица дипломатического лица меняется в мою пользу. Пока его мысли — из большой посылки в малую, я услужливо пододвинул вывод: «Более нужного человека, чем я, вам не

сыскать. Верьте честному слову барона фон Мюнхгаузена. Впрочем...» — и я раскрыл свое ин-октаво, готовясь ретироваться, так сказать, из мира в мир, но дипломат поспешно ухватил меня за локоть: «Ради Бога, прошу вас». Ну что ж, подумав, я решил остаться. И мое старое обжитое место, вот тут — между шестьдесят восьмой и шестьдесят девятой, не угодно ли взглянуть? — опустело, думаю, надолго, а то навсегда.

Ундинг взглянул: на отогнутой странице меж разомкнувшихся абзацев из тонких типографских линеек — длинная рамка, но внутри рамки лишь пустая белая поверхность книжного листа — иллюстрация исчезла.

— Ну вот. Моя карьера, как вам это, вероятно, известно, началась со скромного секретарства в одном из посольств. А затем... впрочем, минутная стрелка разлучает нас, любезнейший Ундинг. Пора.

Барон нажал кнопку. В двери просунулись баки лакея.

— Подайте одеться.

Баки — в дверь. Хозяин поднялся. Гость тоже.

— Да, — протянул Мюнхгаузен, — они сняли с меня мой камзол и срезали мне косицу. Пусть. Но запомните, мой друг, настанет день, когда эту вот ветошь (длинный палец, блеснув лунным овалом, пророчески протянулся к раскрытому шкафу), эту вот тлень, сняв с крючьев, на парчовых подушках, в торжественной процессии, как священные реликвии, отнесут в Вестминстерское аббатство.

Но Эрнст Ундинг отвел глаза в сторону:

— Вы перефразировали самого себя. Отдаю должное — как поэт.

Лунный камень опустился книзу. Нежданно для гостя лицо хозяина сплиссировалось в множество смеющихся складочек, как-то сразу старея на столетия, глаза сощурились в узкие хитрые щелочки, а тонкий рот, разжавшись, обнажил длинные желтые зубы:

— Да-да. Еще в те времена, когда я живал в России, они сложили про меня пословицу: «У всякого барона своя фантазия». «Всякого» — это позднее присказалось, имена ведь, как и иное все, затериваются. Во всяком случае, льщу себя надеждой, что я шире и лучше всех других баронов использовал право на фантазию. Благодарю вас, и тоже — как поэт поэта. — Цепкая сухая ладонь схватила пальцы Ундингу. — И как хотите, друг, можете верить или не верить Мюнхгаузену и... в Мюнхгаузена. Но если вы усомнитесь в моем рукопожатии, то очень обидите старика. Прощайте. Да, еще — крохотный совет: не всверливайтесь глазами во всех и все, ведь если просверлить бочку — вино вытечет, а под обручами только и останется глупая и гулкая пустота.

Ундинг улыбнулся с порога и вышел. Барону подали одеваться. Элегантный секретарь, шмыгнув в комнату, расшаркался и протянул патрону тяжелый портфель. Одернув лацкан фрака, Мюнхгаузен скользнул большим и указательным левой руки по обрезу папок, торчавших из портфеля. Мелькнули протоколы Лиги Наций, подлинные документы о Брестском мире, стенограммы заседаний Амстердамской конференции, Вашингтонского, Версальского, Севрского и иных, иных и иных договоров и пактов.

Брезгливо сощурясь, барон Мюнхгаузен поднял портфель за два нижних угла и вытряхнул все его со-

держимое на пол. И пока секретарь и слуга убирали бумажные кипы, барон подошел к терпеливо дожидающемуся на ручке кресла томику в сафьяне; томик нырнул внутрь освободившегося портфеля, звонко над ним защелкнувшегося.

Глава II

Дым делает шум

Сначала под ногами Ундинга побежали ступеньки, потом сыростью сквозь протертые подошвы асфальт тротуара. За спиной загудело авто барона и, обдав пешехода грязью, метнулось желтым двуглазием сквозь мглистые весенние сумерки.

Ундинг, наставив воротник пальто, прошагал сквозь гудящую арку, под повисшими в воздухе четырьмя параллелями рельс и по широкой прями бывшей улицы Короля. Справа прочертились каменные кубы, дуги и навеси дворца. По укатанной шинами стеклистой слизи асфальта тянулись нитью фиолетовых бус отражения фонарных огней; с выступов в креп сумерек овитого дворца свешивались обмокшие в дожде флаги революции. Затем, справа и слева, мимо глаз — чугунные скамьи Унтер-ден-Линден, и навстречу — утаптывающая бронзовыми копытами воздух черная квадрига Бранденбургских ворот.

Идти было не близко. Сквозь длинный Тиргартен и потом по Бисмаркштрассе, мимо десяти перекрестков к окраинной линии Шарлоттенбурга. Влажный и дымный воздух казался дешевой и неискусной под-